

Библиотека
ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА

Серия
РУССКАЯ ЭМИГРАЦИЯ В БЕЛГРАДЕ



Серия

РУССКАЯ ЭМИГРАЦИЯ В БЕЛГРАДЕ

- Кн. 1: Евгений Аничков: Пьесы. Рассказы. Статьи;
Кн. 2: Евгений Аничков: В прежней России и за границей;
Кн. 3: Сергей Смирнов: В плену у цареубийц;
Кн. 4: Юрий Ракитин: Дневниковые записи 1924–1937 годов;
Кн. 5: От чужих к своим. Письма русской эмиграции А. Беличу;
Кн. 6: Бобан Чурич: Из жизни русского Белграда;
Кн. 7: Ирина Антанасиевич: Русская классика в картинках

Научный совет

- академик *Слободан Грубачич*
академик *Предраг Пипер*
академик *Нада Милошевич Джорджевич*
проф. д. ф. н. *Злата Бойович*
проф. д. ф. н. *Весна Половина*
проф. д. ф. н. *Зоран Паунович*

Редакционный совет

- проф. д. ф. н. *Александра Вранеш*, главный редактор
проф. д. ф. н. *Лиляна Маркович*, ответственный редактор
к. ф. н. *Вукосава Джапа Иветич*, ответственный секретарь
проф. д. ф. н. *Корнелия Ичин*
проф. д. ф. н. *Ирина Антанасиевич*
доц. д. ф. н. *Бобан Чурич*
Тамара Жельски

Рецензенты серии

- проф. д. ф. н. *Алла Шешкен*
проф. д. ф. н. *Лиляна Байич*
доц. к. ф. н. *Светлана Переволочанская*

Библиотека *Язык и литература* издается при поддержке
Министерства культуры и информации Республики Сербии
и Министерства иностранных дел Республики Сербии

ВЯЧЕСЛАВ ИВАНОВ

(Читано в Русском Научном Институте
в Белграде 15/XI 1935 года)

I.

Когда подхватил и понес на своих крылах имя Вячеслава Иванова тот Змей Горыныч, которого мы называем *европейской известностью* — оно оказалось неразрывно связано с именами Льва Толстого и Достоевского.

В этом глубокий смысл, как для понимания того, что дала русская цивилизация западу, так и для понимания самого Вячеслава Иванова, как мыслителя.

Из недр вековых заветов русского самосознания извлекли Д<остоевского> и Т<олстого>, то, что перед всем человечеством воссияло с востока новым светочем. И надо всегда твердо памятовать, что эти заветы, это *народная мудрость, народная вера*. И тот и другой, и Т<олстой>, и Д<остоевский>, обернувшись на народ, совершали свое духовное восхождение. Они были *народники*. Они — высшее достижение русского *народничества*, в этом их сила и их значение, прежде всего в этом их русский, не ставший международным, а изначальный русский национальный смысл.

Чтобы проникнуться этим, надо вспомнить 80-е годы, когда в Москве Вячеслав Иванов пережил тот кризис, бла-

годаря которому он оказался за границей и который определил его дальнейшую жизнь.

Никогда русское образованное общество не было так приковано мыслью к народу, т. е. к деревне, к мужику, как в 80-е годы.

Большая рознь интеллигенции и народа, кающееся дворянство и неудавшееся хождение в народ, крестьянские восстания, сектантство, духоборы, пашковщина, штунда, народничество в узком смысле, т. е. очерки Глеба Успенского, интерес к кустарству, споры об общине, споры о нарождающемся капитализме.

Я только перечислил лозунги и задачи.

Если вдуматься в них поглубже, не окажется ли — что в основе всего этого религиозные вопросы.

Да, давно уже не могло быть речи <о> словах Белинского: русский народ самый атеистический народ на свете.

Но как скрывалась русская интеллигенция за религиозным агностицизмом.

А Россия? Ее лозунги были Толстой и Достоевский.

А отвечали они лозунгам западничество и славянофильство.

Толстой — западник
Разрешится ли для русского народа религиозный вопрос <в> основах западного рационализма.

Достоевский — славянофил
Религиозный вопрос, не составляет ли самую суть славянофильской, т. е. отрицающей запад православной исключительности.

Не значит ли, что еще раз по-новому возник вопрос «Россия и Запад».

Вячеслава Иванова влекло к Достоевскому, и светочем был ему его учитель Владимир Соловьев.

Вячеслава Иванова если не влекло прямо к Толстому, то во всяком случае влекло к западничеству.

Вот проблема и не было из нее исхода.

Все другие вопросы становились *малыми вопросами* перед лицом этих вопросов.

Эта дилемма повела к долголетнему паломничеству В. Иванова на Запад.

Мы подошли к решающему времени его жизни.

Оттого нельзя продумать В. Иванова как мыслителя, не взявши отправной точкой двойственный, но единый национально-религиозный завет Толстого и Достоевского.

Единый — потому что религиозный двойственный — потому что либо *западнический*, либо *славянофильский*.

Какого ответа искал на западе В<ячеслав> И<ванов>?

Я ничего не преувеличу, если скажу опять: Россия и Запад?

Парадоксальным кажется, но это *так*. Русские люди ездили на запад ради одного какого-либо вопроса, ездили за какой-нибудь *частицей западной* науки или мудрости.

В. И<ванов>у надо было разрешить *всю* проблему о западе — *весь запад*.

Эллинист и в эллинизме: восточно-религиозные начала, из которых вышла вера страдающего Бога: *Дионис* и *Христос*.

Гуманизм и Данте.

Aufklärung <образование> = Гете и Новалис.

II.

Когда в первые годы нового столетия В<ячеслав> И<ванов> вернулся на родину и вместе с женой, тоже поэтессой, Л. Д. Зиновьевой-Аннибал поселились в Петербурге, он привез с собой «Кормчие Звезды», томик стихов, «De societatibus Vectigalium publicorum populi Romani» <Общества государственных откупов в Римской Республике>, незащищенную и ненапечатанную диссертацию, и неоконченную книгу о «Дионисе».

Мало!?

Но в том-то дело, что он привез с собою еще запертый ларец *своей мудрости*.

Так, надо сказать и в противоположении этого слишком древне звучащего слова: мудрость и учено-писательского скарба — ключ к пониманию В<ячеслава> И<ванова>.

Нет — не *литератор*.

Но *мудростью* своей сразу, на «Башне», занял в русской умственной жизни положение, какое мало кому выпадало на долю: стал — *учителем*.

Конечно, 15 лет от возвращения в Россию до конца старого режима и его добровольной эмиграции В<ячеслав> И<ванов> *жил литературной жизнью*. С нею связано учительство.

Но какой литературой представлялись в то время те *поэты* — *символисты*, в стане которых жил литературной жизнью В<ячеслав> И<ванов> и вся окружавшая его молодежь? Сологуб, Бальмонт, Зинаида Гиппиус — были одних с ним лет, Мережковский — несколькими годами старше. Остальные, начиная с Валерия Брюсова, не говоря уже о Блоке и Белом, были не только молодые, но в начале этого 15-илет<ия> — *начинающие*.

Однако лишь Горький, Леонид Андреев, Бунин и Куприн остались вне его обаяния.

(Но это касается уже В<ячеслава> И<ванова> поэта.)

Нам важнее не поэты: Ростовцев и Зелинский — Луначарский, Бердяев.

Что же влекло к В<ячеславу> И<ванову>?

Вот тут сказался тот захват интересов и самой образованности В<ячеслава> И<ванова>, которую я постарался охарактеризовать этим парадоксальным выражением: *вся проблема о западе*.

Ростовцев

Зелинский

Ин<нокентий> Анненский

} *Эллинизм*

Но вот Луначарский — его духовная пустота, а м<жду> т<ем> он чувствовал, что именно на *Башне* действительно знают то, что хотелось бы ему узнать, *почему поэзия содержит <в> себе дух обновления жизни*.

Сложнее обстояло дело с Бердяевым — религия или немецкий идеализм: *Zuruck zu Kant* <Назад к Канту> или Назад к Достоевскому.

Перехожу к главному.

III

Вячеслав Иванов завершает великую дилемму русской образованности.

Западничество и славянофильство.

Толстой и Достоевский.

Вот что привез он тогда, 35 лет тому назад, в своем из-за границы, в своем заветном, *тогда еще запертом ларце*.

Он привез с собою память.

За чужой памятью, памятью запада ездили русские люди в библиотеки запада.

Для В<ячеслава> И<ванова> эта западная память оказалась его собственной, т. е. русской памятью.

«очей с меня не сводит
былое»

Все прошлое, все «преходящее строительство» всего человечества, все его духовные силы от «Диониса» до самой «совершенной религии», т. е. до христианства для него, В<ячеслава> И<ванова>, и тем самым для всех нас русских, для России — все *спутники*.

И слышит поэт с кладбища былых совершений:

- Отраву наших слез ты пил из парных чаш.
- Ты нас похоронил, разрыли мы могилы.
- Мы спутники твои. Тебе мы были милы.
- Навеки ты наш!

И остался верен «спутникам», т. е. европейской цивилизации, которая в то же время и русская цивилизация в самый *страшный, роковой час*.

Умер Великий Пан — хотел заставить его вместе с собою славянофил: западник *Гершензон* в «Разговоре из двух

углов», но В<ячеслав> И<ванов> остался верен таинственной легенде, рассказанной Пиндаром.

Умер Великий Пан — рухнула прежняя Россия.

А культура? В<ячеслав> И<ванов> остался верен памяти, т. е. культуре. И это его центральная мысль.

Всякое строительство временно, но зато вечно строительство.

И тут, в этом признании культуры, т. е. отрицании отрицания, разногласие В<ячеслава> И<ванова> с западником Толстым.

«Как голову Горгоны противопоставил единую ценность и единое имя «добра», оно же было для него именем Бога — всем остальным теоретически и практически признаваемым ценностям, чтобы обличить их относительность и через то обесценить».

К этому неминуемо вело *чужое западничество*.

Нечего и говорить, что западничество неминуемо вело к отрицанию своих ценностей, своих заветов, т. е., конечно, *православия*.

Но разве мог западник, *если он не становился простым подражателем*, не отрицать то, что отрицалось на западе, и тогда от отрицания к отрицанию и в конце концов — *рационализм*, а отсюда последняя и признанная единственной ценностью протестантская: *Бог — добро*, даже в сущности не заветное *Бог любви есть*.

Западник неминуемо должен был строить на *tabula rasa*, и русское западничество неминуемо и строит *tabula rasa*, потому что иначе надо избрать какой-нибудь *кусочек запада* и привязаться к нему.

Фашизм, буржуазный радикализм, Гитлер, «као у Бечу» <как в Вене>?

Потянуло к *Достоевскому*.

Не западничество, а славянофильство.

Но разве и здесь, в близком ему издавна через *Владимира Соловьева* стане завете, не увидел он *отрицание памяти*?

Он его увидел *как западник*.

Да, западник Белинский провозгласил, что русский народ самый атеистический и в заслугу на западный лад поставил это русскому народу.

Но, разве Запад — Сатана и разве западники неминуемо бесы?

Разве католицизм — религия Великого Инквизитора?

Разве непременно безверие даст нам Запад?

Разве христианство, эта «самая совершенная из всех религий», есть только отрицающее все остальные вероисповедания православие?

В<ячеслав> И<ванов> увидел в основе мирозерцания Достоевского известное ему, В<ячеславу> И<ванову>, и «манихейство» (Дуализм), которое давно преодолела его Память.

Разве не отвергло христианство манихейско-гностическое противоположение *добра и зла, Бога и Дьявола, Христа и Сатанаила*?

Только вдумаемся в освещенный христианством *оптимизм*: не только преодолены или будут преодолены врата Адовы, но <во> власти Творца все силы Адовы.

В<ячеслав> И<ванов> связывает причины и следствия в единую память, всецело приемлет *оптимизм христианства*.

Но толкуя миф об Эдипе, он всемерно приемлет догмат о *первородном грехе*: «Царствие небесное внутри нас», но внутри нас и греховность человеческая, слишком человеческая.

Таковы судьбы совершений.

IV

А разрешает В<ячеслав> И<ванов> великую проблему жизни, как и следует поэту на почве эстетики.

Мать сыра земля и Anima Mundi.

Человек и мироздание.

Надо лишь, чтобы понять В<ячеслава> И<ванова>, *отрешиться от после-Кантовой эстетики. Нет, не бесполезность.*

«Del Dio quasi <è> nepote» <Оно <искусство> есть Божий внук, в известном роде>. Не значит ли продолжение дел Творца? Подражанием (μιμησις) ли только?

Appollo
и = Furor
Dyonysos

Вот почему создание неотъемлемо от проблемы *вдохновения.*

Восхождение

Но тогда особенно ясна *человечность* мирозерцания.

Гений-человек

Работа — искусство и в работе совершает гений свое *нисхождение.*

Но завещает он *восхождение.*

Семь десятилетий прошло с тех пор, как в Москве в скромном домике землемера родился тот, кому предстояло быть третьим из русских мыслителей, выявившим перед образованным человечеством затаенные глубины своих творческих помыслов*.

Первые два Достоевский и Лев Толстой. Третий Вячеслав Иванов, и случилось так, что его признание сопряжено с его книгой о Достоевском и статьями о Льве Толстом. Этим как бы завершается его поэзия. Если Льва Толстого неудержимо повлекло заговорить уже не образами художества, а непосредственным обращением к людям в фор-

* Семь прошло десятилетий с тех пор, как в скромном домике землемера в Москве, на далекой окраине столицы, родился тот, кого в трепете и разум и сердца зову я другом, а он в ответ: ...во мне, ином, узнал ты брата.

ме проповеди, то ведь и Достоевский не устоял от того же соблазна в своем «Дневнике Писателя». Теперь так же точно и Вячеслав Иванов тоже на закате дней, предстал перед нами, временно отбросив чарующую пелену поэтической образности. Отдернута завеса. Минуя вымыслы сценического иносказания, через светотень созданных художественным творчеством видений вместо песней-мыслей и песней-звуков, по-видимому, и должен стремиться выявить лицо свое сам художник. Таков его дополнительный подарок человечеству. Тогда та сцена, за кулисами которой подозревался поэт, превращается одновременно и в кафедру, и в скамью подсудимых. Восторгайтесь, если я дал вам наслаждение, но поймите, либо казните за то, чем не угодил, либо выслушайте — и то и другое вместе в полном сознании, как вины, так и заслуг, провозглашает себя тогда художник-мыслитель.

Россия дала человечеству Достоевского и Льва Толстого. Из недр вековых заветов русского самосознания извлекли они то, что встало перед всем образованным человечеством, воссиявшим с востока светочем. Когда-то, в течении нескольких столетий, обособленная от всего человечества святая Русь замкнулась в себе, и глубокая пропасть по всем ее границам казалась едва проходимой. Лишь отдельные смельчаки, кое-как пробравшись до самой Москвы, приютились в точно некоем лагере прокаженных, в отведенной им и окруженной стеною Немецкой Слободе. Но безостановочно все ширилось по Руси *западническое*, пока, наконец, не опустели избы патриаршего Приказа, главного оплота заветов святой Руси, не погибли в срубах, не сгорели в пламени самосжигателей ее еще более верные и непримиримые сыны и дочери. Петр, Санкт-Петербург, придворные ассамблеи, Святейший Синод вместо Патриарха, и вместо старинного Кирилло-Мифодиевского более похожий на латинский шрифт, которым печатались светские книги, испещренные иностранными словами. Занесло, наконец,

пронесшейся по Руси вьюгой ее пограничную пропасть и рассеялись по всей равнине, названной теперь Государством Российским, западные перекаати-поля, искрившиеся западным пожарищем наук, философии, дальше, больше просветительского абсолютизма, безбожия и революции.

Миновало всего одно столетие. В новом мире очнулись русские люди. Что ждет Россию? Уже не смута, а казалось бы какая незыблемая стройность. Будто возник и новый завет: самодержавие, православие и народность. И не смей ни спорить, ни сомневаться. Этот новый завет утверждают одетые в вицмундиры на западный лад и по-западному образованные чиновники. Охраняет его по-западному сильное войско, победоносно прошедшее весь запад. В Париже оно возвратило власть Бурбонам. Преображена Русь и не оказывается ли, что смысл всей ее истории и есть это непоколебимо западническое «самодержавие, православие, народность». Так стали толковать судьбы России ее официальные историки.

Да, и народность, но когда под стать народу Аксаковы, отец и сын, решились отпустить бороды и одеться в старинному сшитые камзолы — не позволили. А когда наперекор народности заговорили более смелые и вольнолюбивые западники, что вовсе не какой-то национальный завет, превращенный в крепостное право помещичий Юрьев День и, мол, посмотрите на западе исчезла крепостная зависимость, обоих, и Михайлова и Чернышевского, не разобравшись кто и что, сослали на каторгу накануне т. наз. Великих Реформ Александра Второго, заставивших усомниться не только в незыблемости самодержавия, но и в обязательности для царских подданных православия. Не только рухнули стены Московской слободы, чуть ли не самыми что ни на есть верноподданными сочтены были прямые и косвенные потомки заселивших Россию немцы.

Не удержалась полностью, что важнее, перестала быть заветом. Может быть, другое еще назрело западничество.

Уваровская формула

[Важнее всего пока еще все будто бы непоколебленные оставались самодержавие и православие. Народность заменило более конкретное понятие: *народ*. Во имя народа провозгласив «Землю и волю» и Народовольчество, и мало этого, новые западники в своих западнических увлечениях не только позабыли о православии, но устами Белинского объявили православный русский народ «самым атеистическим народом на свете», не принявших западничества русских людей: славянофилы не решились занести православие в отдельную, не связанную с самодержавием рубрику.

Однако после реформ Александра II как будто что-то выяснилось в хаосе русского]

Прежде всего, оказалось, что Уваровская формула раскололась на двое: Западничество и Славянофильство. Особенно же с тех пор, как никто уже не мог ни тайно, ни явно выдвигать эту кощунственную, брошенную в предсмертном письме к Гоголю мысль Белинского: русский народ самый атеистический народ на свете. Стыдно стало. Неправда. Неразрывны оказались не самодержавие и народность, но народность и православие. Так подошли мы к другим русским мыслителям, выявившим перед образованным человечеством затаенные глубины своих творческих помыслов. Эти творческие помыслы исчадия творческих помыслов России. Пока бурлит и борется против власти и за власть после-петровская Россия, и всколыхнута она передовыми и реакционными веяниями, хождением в народ, террором и сверху и из подполья, народными бунтами, революцией и провокацией, пока не рухнуло и вдребезги не разбилось самодержавие, не временное и преходящее лишь на поверхности кажущееся и кажущееся реальным, а более реальное, все яснее выявляется и это-то более реальное и составляет творческие помыслы, которых выразители стали Достоевский и Лев Толстой.

Величайшие события духовной солидарности единой и нераздельной совести всей России были похороны Достоевского в 1881 году и похороны Льва Толстого в <1910 году>.

Когда с наступлением нового столетия Вячеслав Иванов вернулся в Россию, он привез с собою сборник стихов «Кормчие Звезды», ненапечатанную обширную латинскую диссертацию об акционерных обществах в древнем Риме: *De Societatibus Vectigalium publicorum populi Romani* <Общества государственных откупов в Римской Республике>, почему-то оставшуюся незащищенной и недоконченной книгу о происхождении культа Диониса. Но кроме этого, и кроме своего поэтического гения, которому теперь, на родине, расцвести во всей своей пышности, Вячеслав Иванов привез с собой еще драгоценный ларец с потайным ключом, — и открылся ли он воочию и в наши дни через больше, чем четверть века? — где хранилась выношенная за годы иноземных скитаний его священная мудрость. Может быть странно звучит это слово. От него веет седой древностью. Но никакой более общеупотребительный термин для Вячеслава Иванова никак не подходит.

Вячеслав Иванов и его жена Лидия Дмитриевна, урожденная Зиновьева, поселились в Петербурге, а не в родной поэту Москве, м. б. потому, что Лидия Дмитриевна была петербургская. Во всяком же случае не потому, что в то время северной столице принадлежало первенство в литературной и умственной жизни России, на нее пал выбор. Нет — и это надо сразу же подчеркнуть — не для участия в литературной жизни своей родины вернулся Вячеслав Иванов, поскольку именно для таких людей, как он, надо строго различать литературную жизнь от умственной. Его участие в этой последней было предопределено; первой он чуждался и был в ней посторонним и до конца.

Впрочем, Москва не осталась позабытой. Побывал там Вячеслав Иванов тотчас по возвращении из-за границы,

и там сразу дружески сошелся с Валерием Брюсовым и Бальмонтом, что и знаменовало собою проникновение в волновавшуюся предреволюционную, новыми всколхнутую запросами и стремлениями русскую умственную жизнь. Ведь еще так недавно, какой некретимой и уже замшившейся гладью представлялась она тяжело утрамбованная пресловутой теорией «правды — истины, правды — справедливости». Ни шагу дальше, уж лучше назад к «народовольчеству»! — приказывал и старым и малым Михайловский, и казалось, что лишь где-то, в еще не расчищенных зарослях, прекословят и мутят ясность сознания Достоевский и Лев Толстой. Но именно в самом начале нового столетия пробороздили новь и перевернули замшившуюся некретимую гладь разные и по-разному подымавшие пахоту непослушные плуги. Дрожью пробежало колебание по всем отраслям русской жизни. Марксизм и Мир искусства, эсеры и толстовцы, декаденты и Московский художественный театр, символизм, чеховщина, босяки Горького и возврат к немецкой идеалистической философии. Владимир Соловьев и русская богема на Монпарнасе и Монмартре — всего не перечтешь. Дружба с Бальмонтом и Валерием Брюсовым утвердила автора «Кормчих Звезд» в стан поэтов символистов.

И не прошло нескольких лет, как ночи с воскресенья на понедельник в квартире Вячеслава Иванова и его жены Лидии Зиновьевны Аннибал, теперь поэтессы того же символического толка, стали еженедельным слетом поэтов. Перечислить их значит назвать всех поголовно поэтов, которых теперь читают и ценят, как в Советской России, так и в эмигрантском рассеянии. Родным очагом и как бы академией стала квартира на шестом этаже углового дома с видом на Таврический сад — башня, как ее называли для двух поколений поэтов. И надо признать решающим ее значение в судьбах русской поэзии. Прежде всего символизм. Самыми жарко пригретыми и желанными гостями были как начинающие, так и маститые поэты-

символисты: Кузмин, Блок, Федор Сологуб, Чулков, Верховский, Пяст, Андрей Белый, Брюсов, эти два последних каждый раз, как бывали в Петербурге; Зинаида Гиппиус и Мережковский, более редкие гости, хотя и принадлежали к тому направлению, держались поодаль. Но в том-то и дело, и в этом историко-литературное значение «башни», что здесь же не только возникли, но воспитались поэты, вышедшие на борьбу с символизмом, или, как Ахматова, выносившая в себе свои собственные поэтические грезы. Здесь нашли они не только первое признание, но и первое руководство на своем пути. Вячеслав Иванов не только их учитель; им были выкованы те доспехи, с какими вышли они против него. На башне прозвучала впервые формула Кузьмина: «прекрасная ясность» и в самый разгар поднятой будущими акмеистами шумихи и Гумилев, и Сергей Городецкий, и Мандельштам, особенно последний, продолжали быть усердными учениками Вячеслава Иванова. Футуризм народился, когда уже опустела «башня». Оттого не появились там ни Игорь Северянин, ни Маяковский, но один из, может быть, самых интересных поэтов того же толка, Хлебников, тоже прошел через учебу Вячеслава Иванова. Что это значит? Вот тут и сказывается то его великое свойство, которое я назвал *мудростью*. Высоко вздымалась «башня» над ходячей литературой. Нечего было делать на ночных бдениях с воскресенья на понедельник всем тем безымянным теперь поэтам, что печатались в те годы в журналах и газетах.

Я называю их безымянными, потому что кроме прославившегося в эмиграции Бунина, имена их позабыты и нет основания думать, будто хоть когда-нибудь о них вспомнят. Тогда они с самодовольным пренебрежением посматривали на «башню», а если бы побывали там и поняли, о чем кипят там споры и увлечения, увы, услышали <бы> о себе отходную. Совсем другое дело молодые побегии. Холил их не Бог весть какие высокие дарования Вячеслав Иванов, потому что не школы, не подражания,

не отзвуков искала его мудрость, а расцвета душ, способных преодолеть хотя бы косность ремесла.

Поэты были той духовной средой, которой центром стала «башня». Поэзия — воздух, которым там дышалось. Иначе не могло быть. Но как далека была не перестававшая там лирика не только от литературных пересудов, но и от ей самой угрожавшего соблазна! Никогда, несмотря на все благоговейные заботы о форме, о прозодии, о певучести стиха, не отворачивалась русская поэзия так решительно от заезженной формулы искусство для искусства, как именно на «башне». Воздух, насыщенный поэзией, тем самым насыщался и великими проблемами. Не одних поэтов влекло на «башню». И опять-таки, если я вспомню только ее главных, особенно желанных и частых гостей, не назову ли я тех, чьи уцелели имена после всех невзгод и перипетий переворота, чтобы оказаться особенно на виду. Это — М. И. Ростовцев, Луначарский, Бердяев. Разные это люди, и по-разному влекло их к Вячеславу Иванову. Но когда они поднимались по лифту на «башню», там внизу оставались их журнальные, ученые, профессиональные и партийные заботы, ибо поистине ввысь, *sursum corda* <выше сердца>, поднимался каждый из них. Чего же искал каждый из них?

Чтобы ответить на этот вопрос мне опять понадобится то же слово: мудрость.

Разумеется, что касается трех названных, каждый искал в этом многогранном мыслителе того, что ему ближе. М. И. Ростовцев, а надо присоединить и Ф. Ф. Зелинского, редкого гостя на «башне», но еще более близкого Вячеславу Иванову, чем Ростовцев, влекло к нему, как редкому по широте своих научных запросов эллинисту. Бердяев старался найти невозможное примирение между отобщенным и эгоцентрическим идеализмом немецкой философии и православием. А Луначарский, как ни старался, так и не понял, что было всем на «башне» так ясно — какова революционная ценность поэзии. Но излучалась мудрость

и она, м. б. и недоступная многим, всех озаряла и всех одинаково зачаровывала. Узнали о ней через несколько лет и более широкие круги умственных течений. «Башня» была как бы первой заимкой новых поэтов не только русской поэзии, но и новых поисков всей русской духовной жизни. Перебороздил ее большевизм. Но ведь и это поверхность, а не суть, преходящее, а не существо.

Вячеслав Иванов завершает главную триаду русской цивилизации, тезис которой народник-славянофил Достоевский, а антитезис народник-западник Лев Толстой. Таково его место в духовных судьбах России.

И толстовству и славянофильскому народничеству, преодолев во время своих скитаний те заветы, что он вынес из России Достоевского, Вячеслав Иванов прежде всего противопоставляет иные всечеловеческие заветы. Он зовет их «память». В стихах «Неотлучные» он пел:

Очей с меня не сводит
Былое

Он с теми, что уже давным-давно на кладбище; с былыми «спутниками» отнюдь не покончено. Их власть непреодолима, ибо всякое новое строительство жизни лишь «преходящее строительство». И слышится поэту с кладбища:

— Отраву наших слез ты пил из пирных чаш...
— Ты нас похоронил: разрыли мы могилы...
— Мы — спутники твои. Тебе мы были милы
Навек ты — наш!

Оттого, когда в «Разговоре из двух углов», напуганный тем, что революция не ответила его чаяниям, Гершензон проповедует какой-то анархический отказ от культуры. Вячеслав Иванов, разумеется, не может не взять ее под свою защиту. Действительно лишь фразой пустой может быть выход из «культурной среды», в которой мы обитаем, и выхода нет. И «память», как утверждение культуры основной, может быть главный принцип миропонима-

ния Вячеслава Иванова. Память безостановочно скользит по цепи скованной из Причины и Целей, чей миф воспел поэт в «Меламп».

Имя нам Змеи-Причины, со Змеями-Целей отвела
Нас обручила судьба и каждая ждет Гименея

Поистине, за этим, т. е. за Золотым Руном памяти съездил Вячеслав Иванов за границу и поистине переполненную кошницу всей европейской цивилизации от зачатков эллинизма, через «Божественную Комедию» Данте до Гете и Новалиса, невидимо привез с собой назад, на родину. Отсюда и то, что составляет трудности его вдохновений: мифологические образы, научные взлеты его поэзии, ученые взлеты его поэзии, ученые взлеты его осложненных ритмов.

Напротив, народничество непременно враждебно относится к культуре. Нет, не боялся Вячеслав Иванов разрушения: «Топчи их рай Аттила», прочли мы еще в «Кормчих Звездах» за несколько лет до 1905 года. Но кончаются стихи призывом.

И оттого не смог он, смелый, продолжать переписку с запуганным Гершензоном.

Между тем, иная, не схожая, но вящая запуганность давным-давно присуща русским славянофилам. Она проходит красной нитью через все романы Достоевского. Воспаленными глазами, как и все мы, исчадия Петербургского периода нашей истории, смотрел Достоевский на страшный, надвигающийся на нас запад, страшный, потому что безбожие, разрушение, Бесы, «Теории-Идолы неумолимо жадные», разлад, Великий Инквизитор, вместо любви во Христе, двигались на нас с запада, именно это все видело в западничестве славянофильство. Разбирая романы-трагедии Достоевского Вячеслав Иванов и принужден был вскрыть коренную мысль Достоевского, которой подчинены все образы его углубленного реализма. А эта мысль явно враждебна вовсе в сущности не только

западу, а всей европейской культуре. Ведь культура, вообще все то, что мы зовем культурой, противопоставляется православию, т. е. святой Руси, а самое это противопоставление, — это воочию показал Вячеслав Иванов, неминуемо ведет к гностически-манихейскому отождествлению культуры с царством Князя преисподней, с Люцифером и через него с Ариманом, мало того, со всем Легионом скверны Адовой.

Враждебность культуре Льва Толстого бросается в глаза, и именно культуру прежде всего противопоставляет Вячеслав Иванов Льву Толстому.

«И, во всяком случае, — писал он о Толстом, — таков смысл всей так называемой <проповеди> Толстого. Как голову Горгоны, противопоставил он единую ценность и единое имя <добра>, оно же было для него именем Бога — всем остальным теоретически и практически признаваемым ценностям, чтобы обличить их относительность и через то обесценить». Вот сущность западнического народничества с его иной, но не меньшей запуганностью. Для западнического народничества тоже страшна была культура с ее неразрешимым социальным вопросом, с ее насилием, неравенством, войнами, деньгами. И если для славянофилов еще оставалась надежда.